

**Евгений Андреевич Салиас де  
Турнемир**

**На Москве (Из времени чумы  
1771 г.)**

**Москва  
«Книга по Требованию»**

УДК 82-311.6  
ББК 84-4  
Е14

**Евгений Андреевич Салиас де Турнемир**  
Е14 На Москве (Из времени чумы 1771 г.) / Евгений Андреевич Салиас де Турнемир – М.: Книга по Требованию, 2012. – 416 с.

**ISBN 978-5-4241-2609-3**

Исторический роман «На Москве» в остросюжетной манере повествует о трагических событиях «из времени чумы 1771 года».

**ISBN 978-5-4241-2609-3**

© Издание на русском языке, оформление  
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,  
«Книга по Требованию», 2012

Евгений Андреевич Салиас  
На Москве  
(Из времени чумы 1771 г.)  
Исторический роман в четырех  
частях

*...Грех наших ради на Москве и слободах помирают многие люди скорою смертью!..*

*(Из донесения князя Пронского)*

*...La femme en amour – est esclave ou despote!..*

*Vauvenargues<sup>1</sup>*

# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## I

Екатеринин день, 24-е ноября 177\* года. Морозное, ясное утро. Солнце поднялось на безоблачном небе и засияло над серебряными сугробами, в которые увилась вся святая Русь. На небе солнце яркое, лучистое, золотое; на земле тоже яркие, лучистые снега и снега без предела, будто золото с серебром побились об заклад, кто кого переспорит, кто кого затмит. И этот начинающийся светлый день – праздник большой для всей Руси, и Великой, и Малой, и Белой; этот день царский – именины великой Государыни. День прогульный, день с обедней и с молебном в храмах, со всякой суетой, катаньями в городах, с песнями и хороводами по селам и весям.

В 13-ти верстах от Москвы по Коломенской дороге, рысцой бежала пегая лошаденка, а за ней прыгали по ухабам крестьянские розвальни, и в них сидел бочком молодой парень. Он тоже пегий в своем пестром тулупе с ярко-белыми заплатами. Полспины, плечо и правая рука ярко-белые из новой овчины, левое плечо постарше, серое, замасленное, годовалое, а грудь вся черная, ей пятый год пошел.

Пегий парень и пегий конь оба спешили скорее добраться до матушки-Москвы.

– Нынче Улю увижу!! Улю увижу!.. – повторяет парень и мысленно, и вслух. Для него, видно, весь мир Божий – Уля!

А конек, верно, тоже мечтает: авось в Москве овсеца увижу!

Молодой парень уже третьи сутки в пути. Он выехал из родного села, из-под Рязани, в первый раз от роду. На селе недавно всем миром положили на сходке мужики избавиться от парня-бобыля и, взамен маленького клочка землицы, приходившейся на его долю и который всем миром у него оттягали, дали ему лошаденку, санки, один рубль денег, краюху хлеба, две охапки сена для коня – и спровадили.

– Куда хошь ступай!.. – было ему напутствие. – Ходи по оброку, плати не плати, – черт с тобой, лядащий! – только с глаз долой сгинь! Хоть миром за тебя оброк уплачивать будем, только бы нам с тобой развязаться, не видать тебя на воле во веки веков. Порченный!..

И парень-бобыль, по имени Ивашка, отвесил всем поклон, – особенно прощаться ему было не с кем – и, сев в санки, пустился в путь, в Москву.

«Уж коли ехать куда, – думал он, – так вестимо в Москву». Там прежние господа живут, которые его село года с три тому назад продали. Там же и Уля, единственный человек на свете, который Ивашку любит, не считает лядащим и порченным и которую Ивашка тоже до страсти любит.

Ивашка не опечалился, что его всем миром вытурили из родного села. Он слышал, что в городах, особенно в Москве, хорошо живут.

Ивашка знал, что ему нигде особенно хорошо не уживется, потому что он воистину Богом обиженный, лядащий, порченный, ни на что не годный. Вот уже 20-е года ему пошли, а он ничего сделать не умеет, всякое дело у него вверх ногами выходит: все-то он испортит или, занятый своими дурацкими мыслями,

все проворонит; ахнет потом, а уж дело испорчено.

И чуден тоже уродился парень... Так, со стороны посмотреть, пригожий, смиренный, ласковый, вина в рот не берет, богомольный. Даже страсть как любит и уважает все божеское, т. е., стало быть, церковное.

И вот теперь силком, по приговору мира, едет в Москву. Чуть свет выехал с последнего ночлега, и лошаденка начала приставать.

Хоть и недалеко до Москвы, а, видно, придется отдохнуть среди дороги, остановиться, дать лошаденке клочок сенца и самому поглотить ломоть хлеба, оставшийся от краюхи, взятой с села.

Между тем дорога оживилась. Попадалось навстречу все больше народу, пешеходов, богомолок; обозы тянулись, шли целыми кучками хорошо одетые люди. Видно, близ столицы народу сытнее живется. И не видать Москвы, а чуешь, что недалеко до нее, глядя на козухи и зипуны и бабьи платки пестрые...

Проехал Ивашка большущее село, каких еще ни разу не видал с самой Рязани, и дорога пошла в гору. Лошаденка уже еле-еле ноги тащит. Ивашка решил, что, взобравшись на горку, делать нечего – надо будет остановиться.

Он вышел из саней, пошел пешком и поднялся в гору, глядя себе под ноги и раздумывая о своей заботе: что будет он делать в Москве? Глубоко задумался он, а сам все шагает около саней. Но вдруг попался ему прохожий. Ивашка будто проснулся, пришел в себя, поднял голову и ахнул во все горло. Ахнул парень, рот разинул, глаза выпучил и не знает, что и делать...

Перед ним вдали, направо, будто как на ладони, потянулось что-то такое... Господь его ведает! Диво дивное! Из конца в конец что-то большущее, дымчатое, сизое и все усеянное яркими золотыми пятнами, будто как ночью костры видать в поле.

Ивашка понял, что это и есть матушка-Москва. И страх его взял. Как туда теперь и въезжать?! Такой страх взял, что хоть сейчае садись опять в санки и поворачивай оглобли домой. Лошаденка тоже стала и будто тоже на Москву смотрит и тоже что-то думает. Верно, думает:

«А что сено? Как там оно?..»

Ивашка отвел санки в сторону дороги, где место было повыше, недалеко от двух берез. Живо выпряг он лошадь, поставил к саням, чтобы вычистила она сама все, что было там сенца, а сам сел на откос и стал, не сморгнув, глядеть на это диво дивное, что расстилалось там, внизу, как бы в облаке, меж краев земли и неба, в полублеске, полудыме.

Робость его прошла, и то диковинное чувство, которое так часто копошилось у парня на сердце и ради которого он и прослыл порченым, вдруг захватило его всего до косточек. Знал он его хорошо, оно-то и заставляло его всегда бросать всякую работу...

Оно-то и заставляло его вдруг вместо работы песнь затянуть, лихую или заунывную, душевную, и часто не чужую песнь, не ту, которую все на селе знают и распевают, а свою, самодельную, со своими словами. Бог весть откуда на ум идущими.

После этого, бывало, всегда Ивашке вдруг, неведомо почему, сгрустнется; случается даже, что и слеза прошибает... Так, сдуру... И уйдет куда-нибудь он подальше, чтобы свои на селе не увидели да на смех не подняли. Бывало, что, забравшись в душу, это диковинное чувство начнет будто грудь распирать, растет

и растет, будто задушить хочет, в мир Божий кругом будто оборотнем обернется, чем-то другим... Так, что иной раз в сумерки светло покажется, зимою в мороз – весной запахнет...

## II

Громкий говор, крики, хохот и чей-то хриплый голос разбудили Ивашку. Он оглянулся.

В нескольких шагах от него стояли три мужика и баба, а перед ними, лицом к Ивашке, – худая, тощая, сгорбленная старуха, вся в лохмотьях, с длинной клюкой в руках. Мужики тешились, а она злилась, хрипела и клюкой грозилась на них.

Видал старух Ивашка, но этакой, почитай, отродясь не видел.

«Как есть ведьма», – подумал он.

Прохожие мужики, смеясь, пошли своей дорогой, а старая, увидя Ивашку, подошла к саням.

Разглядев ее поближе, Ивашка и вовсе поверил, что это ведьма. Старая, беззубая, с провалившимся ртом, с маленьким, сморщенным и коричневым лицом, с мутными кровавыми глазами; седые лохмы выбились из-под платка; тощая, черная шея с руку толщиной, костлявые, длинные, как крючья, руки. Она приковыляла, злобно взглядывая на Ивашку, будто он чем-то обидел ее, и хрипнула, тыча клюкой вперед.

– На Москву сюда?

– На Москву, – вестимо, вот прямо по дороге.

– А ты не обмани, а то я тебе палкой... – прохрипела она.

– Чего обманывать, бабушка. Вот она, Москва-то.

– Где она? не ври! энти тоже ввали: вон она... Где она? Пустая дорога... а бают: вон она!

– Да тебе Москву надо?

– Вестимо. Треклятую, будь ей пусто... провались она... Господь ее разрази! Растреклятая! ни дна б ей, ни покрывки... Провалиться ей в преисподнюю, – злобно, почти задыхаясь, проговорила старуха.

– Что ты, бабушка, что так! Вишь, гляди, какая она! что храмов Божиих! вишь, какое от них сияние.

– Проклятая она! Проклятое место... – продолжала выхрипывать старая, и, подняв клюку, она яростно грозилась в воздухе.

«Ишь какая сердитая! – подумал про себя Ивашка. – Обожди, я тебя подвезу. Вот покормится лошадка, и поедем».

Старуха помолчала, поглядела Ивашке в лицо своими красными глазами, проворчала что-то сердито и, не сказав спасибо, села на край саней.

– Тебе что надо в Москве? – заговорил Ивашка.

– Алеха у меня там.

– Сын, что ли?

– А ты не озорничай, – побыю...

– Вишь, какая! Ничего спросить нельзя.

– Надо, спешить надо! – ворчала старуха, – а то помрешь, так и не скажешь разбойнику... Не будет ничего знать, а это дело сам отец диакон все знает, когда солдат помирал, то при нем наказывал. Алехе все... Убыю я его, озорника, раз-

бойника!

И старуха опять подняла свою палку и опять стала грозиться.

«Ишь! – подумал Ивашка, – знать, из ума выжила».

– Да, спешить надо, – бормотала старуха, – ноне еще хуже... жжет... горит...

Утрось легла, так среди дороги легла, думала – помираю... Разбойники!..

– Хвораешь, что ли?

– Хвораешь! – сердито отозвалась старуха, и одним движением злобным и быстрым она распахнула полушубок и платье. Ивашка, при виде ее обнаженной груди и плеча в пятнах и язвах, невольно отодвинулся от старой.

– И чего кажешь!.. Ну тебя совсем! – выговорил он.

И Ивашка вдруг осерчал на старуху и на весь мир Божий. Бурча со зла и бранясь, он заложил скорей лошаденку, выпустил старуху в сани, сел на откос, поодаль от нее, и погнал лошадь рысцей.

Старуха начала тотчас подремывать и клевать носом, потом скорчилась, свернулась клубком, как собака, на дне саней и скоро лежала почти без признаков жизни.

«Знать, пристала старая, много верст, видно, ушла, – подумал Ивашка. – А ну вдруг померла, мертвое тело ввезешь в столицу – прямо в Сибирь! Этакие старые, случается, помирают вдруг. И что это она, леший бы ее взял, казала? Чудная хворость... Экая гадость какая... Тьфу!»

Но скоро Ивашка забыл про свою старуху и глядел только вперед.

Народ уже шел по дороге кучами; возы, обозы, сани и дровни уже попадались постоянно. Строения большие и малые появлялись на каждом шагу. Ивашка все ждал, когда начнется Москва, и не знал, что Москва уже началась.

Наконец вдалеке показались по бокам два каменных дома, а среди дороги протянулся пестрый столб. Это была застава и рогатка.

Ивашка сначала даже и не понял, что это за притча. Загорожена дорога! Ну, как не впустят да велят повернуть оглобли домой!

Миновав рогатку без помехи и въехав в московские улицы, Ивашка в себя прийти не мог. Глаза у него разбежались на дома, на прохожих и проезжих.

Благодаря праздничному дню, на улицах было особенное движение.

Зазевавшись направо и налево, Ивашка даже забыл про свою старую ведьму, которая все так же без движения лежала в санях, и только проехав несколько улиц, он вспомнил, что не мешало бы облегчить санки.

– Эй, бабушка, бабушка! – начал он будить ее. – Проснись! приехали.

Но старуха не двигалась и не подавала никаких признаков жизни. Долго провозился с нею парень, остановил наконец санки и начал расталкивать ее.

Несколько прохожих подошли к ним и от безделья тоже стали будить старуху да расспрашивать Ивашку, откуда, куда и зачем он.

Наконец старая пришла в себя. Она огляделась мутными глазами и потом начала бурчать и браниться.

– Приехали! – кричал Ивашка. – Куда тебе надо?

– К Миколу, – отозвалась наконец старуха, – в церковь Миколы.

И на вопрос прохожих, к какому Миколу, так как их в Москве не перечесть, старуха вспомнила наконец, что ей нужно к Миколу Ковыльскому.

Она поднялась из саней, злобно огляделась на всех, попробовала было идти, но зашаталась и села на снег.

– Аль ты хворая? – спросил кто-то, но старуха разразилась бранью. Ивашка отвечал за нее, что она хворая! Бог весть, что у нее, только неродное.

– Уж ты довези ее до места; где ей, старой, идти? – сетовали Ивашке прохожие.

Делать было нечего; парень опять посадил старую ведьму и повез, внутренне недовольный обузой, которую взял на себя.

Расспрашивая прохожих, поворачивая по бесконечным переулкам, то вправо, то влево, часто путаясь и ворочаясь снова назад, парень наконец доставил старуху к церкви Николая Ковыльского. Опять пришлось растолкать и поднять задремавшую старуху. Она опять, с трудом выбравшись из саней, не сказала спасибо, а, снова ругая и Москву, и Ивашку, вошла на церковный двор.

Ивашка хотел было отъехать, когда целая толпа ребятишек окружила старую ведьму с клюкой, и поднялся такой веселый гам вокруг нее, что Ивашка должен был опять вылезать из саней и спасать старую от целой стаи буйных головорезов.

Старухе нужно было в дом просвирни.<sup>2</sup> Найти, по счастью, было не трудно. Домик просвирни около колокольни оказался тот самый, к которому они подъехали.

Когда старуха пошла в калитку, ворча и бранясь, а мальчуганы отстали от нее, Ивашка сел в свои сани и поехал.

– Слава тебе, Господи: развязался, – сказал он вслух, – вот этак-то всегда: свяжешься с кем-нибудь ради одолженья, а потом себе хлопот наживешь. И лошаденку-то заморил, бедную.

Действительно, пегий конь едва таскал ноги, а между тем приходилось разыскивать теперь дом прежних помещиков, где жила Уля.

### III

Парень Ивашка и девушка Ульяна, его молочная сестра, прозывались когда-то в родном селе и во всей округе: мужицкие дворяне.

Тому назад 25 лет помещик капитан егерского полка, Борис Иванович Воробушкин, выйдя в отставку, купил имение около Рязани и поселился в нем. Вследствие скучной и однообразной жизни, сорокалетний холостяк помещик скоро и легко пленился до страсти одной 18-тилетней крестьянской девушкой, собственной крепостной. Девушка эта немедленно переселилась в усадьбу помещика, а через года два появился на свет ребенок – девочка, которую назвали по имени матери Ульяной. Борис Иванович стал тотчас подумывать о женитьбе на своей крепостной. Дело это было заурядное, и, кому ни заявлял бы об своем намерении Борис Иванович, никто не удивлялся. Но через несколько недель после рождения ребенка мать вдруг умерла при таких странных обстоятельствах, что в вотчину чуть не нагрянули начальство и суд.

Сама ли она отравилась или была отравлена – осталось покрыто мраком неизвестности. Во всяком случае, Борис Иванович страшно горевал и всю свою любовь перенес на крошечную девочку, носившую дорогое ему имя.

Маленькой Уле достали тотчас с села кормилицу, и не только все баловали всячески новорожденную, но даже ласкали и баловали до безобразия кормилицу, из страха неосторожным словом как бы не испортить молока ее. Вследствие этого баловства и обилия молока решено было и ее новорожденного сына Ивана тоже взять в дом и дозволить кормить обоих младенцев. Через несколько лет Уля и мальчуган Ивашка, молочные брат и сестра, жили оба в доме Бориса Ивановича.

ча, как бы собственные дети. И вдруг, как-то невзначай, неизвестно когда, присоединилось к ним и прозвище, на которые падок народ. Уля и Ивашка были прозваны «мужицкие дворяне».

Дети жили как голубки, обожали друг друга, и, по странной случайности, было в них даже что-то общее. Когда обоим минуло по 12-ти лет и они еще не знали, а только смутно начали было понимать от разных обмолвок дворни, что Борис Иванович Уле отец наполовину, а Ивашке совсем не отец, случилось вдруг нечто простое, но имевшее огромное для них значение.

Борис Иванович скоропостижно скончался! Месяц спустя приехал в вотчину вступать во владение всем имуществом брат покойного, офицер морской службы, Капитон Иванович Воробушкин. Его приезд в вотчину ждали все как бы светопреставления! Но все ошиблись: ничто в доме не изменилось. Капитон Иванович полюбил свою племянницу почти так же, как любил ее отец. Мальчуган Ивашка остался тоже в усадьбе. Капитон Иванович относился к нему хладнокровно, но, однако, Ивашке жилось так же хорошо, как и прежде; его не обижали. Прошло так еще около четырех лет. Калитой Иванович переехал в город Рязань, вскоре же вдруг женился, и сразу все изменилось в жизни «мужицких дворян».

Парня Ивашку тотчас отправили из города на село к его матери, а 16-тилетней Уле, уже девице, а не девочке, житье стало трудно. Супруга Капитана Иваныча, Авдотья Ивановна, была полурусская, полунемка, известная в Рязани повивальная бабка. И прежде не отличалась она кротостью нрава, но, сделавшись вдруг барыней, вскоре начала так чудить, что не только Уле, но и самому Капитону Иванычу приходилось несладко.

Не прошло года после женитьбы, как Воробушкины, по настоянию Авдотьи Ивановны, уехали из Рязани в Москву. Авдотья Ивановна говорила, что настоящие дворяне должны жить в столице, что она желает обзавестись знакомством и жить по-барски.

Воробушкины переехали в Москву, а Уля была отправлена, несмотря на все просьбы Капитона Ивановича, к своей кормилице.

«Мужицкие дворяне» были снова вместе, но при совершенно иных условиях. После жизни в усадьбе с добрым Борисом Ивановичем, а потом с Капитоном Ивановичем им было теперь мудрено жить в маленькой, ветхой избенке кормилицы и помогать ей в работах.

Женщина добрая и умная считала, конечно, Улю барышней и не позволяла ей ничего делать, тем более что получала за это частые подарки от барина из Москвы. Зато Ивашке приходилось нести на себе много тягостей простого мужика, о которых он знал лишь понаслышке, когда жил в усадьбе. Уля могла помогать любимому брату только тайком от кормилицы. Через четыре года, после отъезда Воробушкиных, имение и крестьяне были очень дешево проданы, а племянница помещика, Уля, была вдруг вытребована к ним в Москву. Девушка не знала, радоваться ли этому. Ей чудилось, что не на радость поедет она. Досыта наплакавшись, молочные брат и сестра расстались.

Ивашка, оставшись один с матерью, сильно переменялся. И прежде был он негоден на многое, что приходилось делать, а теперь окончательно прослыл за шального и порченого. Вдобавок женщина стала все более баловать сына-полубарчонка и делала уже сама все, что следовало бы делать ему. Она и сеяла, и пахала, и работала и за себя, и за него. Не недолго длилась эта жизнь праздного

штатуна Ивашки. Однажды, отправившись в крещенский мороз в соседний лесок тайком срубить ель на дрова, т. е. на порубку, женщина была поймана, высечена и сдана в городской острог. От всего происшедшего, – быть может, от перепуга, быть может, и от наказания розгами, – она заболела, сидя в остроге, и, прежде чем суд успел решить, что с бабой делать, она была уже на том свете.

В следующую за тем весну, когда начались посевы, Ивашка оказался вполне ни на что не годным. Он только и знал, что пел песни, отлично играл на балалайке или сидел по целым часам молча, о чем-то раздумывая и глядя на всех бессмысленными, будто мертвыми, глазами. Случалось тоже, что вместо работы он брал уголь, а то и просто макал руку в грязь и мазал по заборам, везде где случится, какие-то рожи, или зверей с ногами и хвостами, или Бог весть что.

Мужики Ивашку ругали, били, секли... но ничего не помогало.

Наконец, протерпев все штуки порченого парня, мир собрался и спровадил его... на все четыре стороны.

Судьба господ между тем за все это время несколько изменилась. Когда супруги Воробушкины переехали в Москву, то наняли большой каменный дом на Пречистенке,<sup>3</sup> выписали много людей из своих двух вотчин, обзавелись как всем необходимым, так и всем тем, что только попадалось на завидующие поповы глаза Авдотьи Ивановны. Они зажили на широкую и барскую ногу.

В новых знакомых недостатка не было, тем более что Авдотья Ивановна, корчившая важную барыню, приглашая гостей, охотно и любезно всех кормила, поила и даже давала деньги взаймы.

Капитон Иванович вскоре же начал замечать своей супруге, что при их маленьком достоянии скоро не на что будет жить, но Авдотья Ивановна и слышать ничего не хотела.

Действительно, через год, два жизни в Москве они уже переехали на другую квартиру, поменьше первой, причем продали часть имущества и несколько человек из выписанных дворовых людей. Еще через два года Капитону Ивановичу пришлось продавать имение, полученное от брата, и у него оставалось только свое собственное – маленькое, бездоходное, степное. Еще через год Воробушкины переехали уже на Ленивку,<sup>4</sup> в маленький мещанский домик.

После двух десятков прислуги у них оставалось теперь только две женщины и приходилось уже подумывать о продаже последнего степного имения.

Авдотья Ивановна не унывала и все по-старому тратилась всячески. На все доводы мужа она отвечала, что их достояния на их век хватит, но главная досада ее была в том, что по мере того, что они переезжали с одной квартиры на другую и продавали то, что имели, круг знакомых также уменьшался и изменялся.

Когда они явились в Москву, у них все-таки бывал кое-кто из видных лиц города; теперь же, по злобно-насмешливому выражению Капитона Иваныча, осталась у его супруги только одна приятельница, да и та вдова расстриженного попа.

На своей настоящей квартире, на Ленивке, Воробушкины уже жили теперь совсем на мещанский лад, перебиваясь оброком, получаемым из степного имения.

Авдотье Ивановне было обидно до зарезу, что приходилось жить попроще, и она стала изыскивать всякие средства доставать денег. Еще когда-то в Рязани, будучи повивальной бабкой, она слыла за женщину, у которой много разных

сереньких дел и сереньких знакомств, помимо родильниц и новорожденных, и только такой добродушный и чистый душою человек, как Воробушкин, мог жениться на ней. Конечно, Авдотья Ивановна, теперь, после замужества, растолстевшая и обленившаяся, в то время была очень тонкая и бойкая женщина. Она тогда сразу поняла, что за человек дворянин Воробушкин, и в два месяца сумела его заставить на себе жениться. Теперь, протратившись в Москве, Авдотье Ивановне приходилось снова помянуть стариной и изыскивать окольные пути добывания денег.

Воробушкин чуял что-то нехорошее, но был, однако, еще не вполне уверен, что жена срамит его дворянское звание и имя. Капитон Иваныч был чистейшая и честнейшая душа, никогда не спускавшаяся вполне и не погружавшаяся без боли в дразги житейские. Он вечно и пылко, по-юношески, витал разумом в таких пределах, которые были совершенно недоступны его супруге.

## IV

Еще юношей, восемнадцати лет, Капитон Иваныч был отвезен отцом в Петербург и отдан в морской корпус. Как и почему попал молодой Капитоша в моряки, он не знал. Он стал учиться прилежно и скоро был выпущен унтерлейтенантом во флот. Сражаться молодому Капитону, конечно, ни разу не пришлось, и он вышел в отставку тотчас по получении известия об «вольностях дворянских», дарованных государем Петром III. Но плавания, путешествия, хотя не далее берегов Швеции, сделали из Воробушкина такого человека, про которого говорили теперь, что он многое знает, многое видал и очень занимательный собеседник. Действительно, когда Капитон Иваныч рассказывал соседям по вотчине о Финляндии, о разных городах, имена которых его слушатели не могли даже сразу выговорить, не только запомнить, то соседи слушали, разиня рты, а сам Воробушкин чувствовал невольно свое превосходство перед многими другими дворянами. Сызмала Капитон Иваныч был из того же сорта людей, к которому принадлежали теперь его любимцы Уля и Ивашка. Он больше любил смотреть на небо, на облака и звезды, чем на землю. Он любил гулять по лесу, но не ради хозяйских забот, а ради собирания грибов. Он любил ходить по хлебоборобным нивам, но тоже только затем, чтобы, нарвав пучок васильков, принести их домой и поставить в воду. В каком виде уродился его хлеб, он при этом не замечал и не любопытствовал даже заметить. Зимой, любя цветы, он заводил горшок с розаном, поливал его аккуратно и любил так же, как Уля, заведя зяблика или овсянку, ходить за ними, разговаривать с ними. Так же как Ивашка, любил он бывать в церкви, подтягивать на клиросе дьячку, ставить и поправлять свечки у образов, подавать кадило, носить образ или хоругвь в крестном ходу. И странное дело! Морская служба, дежурство на корабле в тихие, летние ночи, путешествия к чужим берегам, встреча с матросами и моряками разных стран света, выслушивания рассказов о дальних пределах, об Америке, Африке, Японии – все это еще более развило в Капитоне Иваныче и укрепило то неуловимое и неясное ему чувство, которое было теперь так чуждо его супруге. И немудрено, что, наследовав от брата вотчину, где оказалась Уля, он полюбил девочку тотчас за те склонности, которые оказались в родной племяннице Уле, уродившейся действительно в него, в своего дядю. А Ивашка, – который не был ни ему, ни Уле родней, – по счастью, оказался тоже их поля ягодой.